

© 1990 г.

Г. А. Левинтон

НАСКОЛЬКО «ПЕРВОБЫТНА» УГОЛОВНАЯ СУБКУЛЬТУРА? *

В чрезвычайно ценной статье Л. Самойлова отчетливо выделяется несколько аспектов: это, с одной стороны, общественные проблемы (более подробно рассмотренные в других его статьях) и связанные с ними предложения о необходимых реформах в пенитенциарной системе, с другой — собственно этнографическая проблематика, т. е. введение в обиход важного материала, постановка проблемы и гипотетическое ее решение. Первой, практической стороны, несмотря на ее актуальность и остроту, я позволю себе не касаться. Материал, приведенный в статье, большинство из нас может, разумеется, только с благодарностью принять; не вызывает сомнения и сама постановка вопроса об этнографии лагеря, и целый ряд параллелей между социальными и ментальными структурами блатного мира и более традиционным этнографическим материалом — «экзотических», или «первобытных», обществ. Число таких параллелей можно было бы даже умножить, например, самоназвание воров *люди, человеки* точно соответствует засвидетельствованному у многих «примитивных» этносов самоназванию, совпадающему с обозначением «человека».

Однако то объяснение, которое предлагается для этих параллелей, общий вывод статьи о близости лагерной культуры (и самого ментального типа вора) к первобытной культуре, к «дикарю» и о характере этой близости — принять уже значительно труднее. Объяснение это в сущности сводится к тому, что коль скоро «за последние 40 тыс. лет человек биологически не изменился», то его «психофизиологическая природа» тоже не изменилась, и она адаптирована к соответствующим «условиям экологии и *социокультурной среды*», т. е. к первобытному обществу. Можно, конечно, усомниться в том, действительно ли биологический вид адаптируется к социокультурной среде (экология тут явно не причём) и вся психофизиология остается неизменной, но важнее в этом рассуждении другое: «культура и общество... проделали... грандиозный путь развития», а человек остался неизменным. Все адаптационные механизмы заключены в «культуре», а человек «минус культура» — это «дикарь». Я хочу прежде всего обратить внимание на то, что слова «культура» и «общество» употреблены в единственном числе. Речь идет, таким образом, о какой-то единой, универсальной культуре (а не о *культурах*, с которыми только и имеет дело этнограф), причем понимаемой не просто «эволюционистски», но в каком-то еще более простом, бытовом и, несомненно, оценочном смысле. Понимаемая таким образом, «универсальная» культура, как показывает опыт гуманитарных наук, всегда подсознательно отождествляется с культурой европейской. По существу выделяются как бы два состояния: «культурное», «наше», «современное» общество и общество «примитивное»¹ (куда под горячую руку может попасть и античность и средневековье, в которых действительно есть много глубоко архаических черт, но их немало и в нашем обществе).

Я разумеется, не пытаюсь приписать все эти заблуждения Л. Самойлову, но некоторые следы подобных предпосылок в его статье несомненно присутствуют. Характерно, что на «первобытное» состояние он проецирует факты *разных*

* Обсуждение статьи Л. Самойлова «Этнография лагеря» (СЭ, № 1, 1990)

культур, а часть этих фактов была известна и весьма поздним (в «эволюционистском» смысле слова) обществам. Так, запрет употребления посуды, бывшей в контакте с ритуально нечистыми людьми, есть, например, у старообрядцев. Институт побратимства, с которым сопоставляются отношения «кентов», также нельзя считать специфически первобытным явлением. Кстати, само это сопоставление не вполне убедительно, в частности, существенно, что «кентовство», кажется, не оформляется никаким ритуалом (в 40-е годы эти же отношения обозначались формулой «они вместе кушают» — здесь как будто скорее можно усмотреть какие-то ритуальные аналогии, особенно на фоне запрета есть за одним столом с «неприкасаемыми»).

Доказывая сходство блатной культуры с первобытной, Л. Самойлов постоянно ссылается на ее «примитивность» (понимаемую, опять-таки в оценочном, нетерминологическом смысле). Особенно наглядно это проявляется там, где речь идет о языке, о «бедности, убогости блатного жаргона», при этом упоминается даже словарь Элочки-людоедки. Этот аргумент неверен по нескольким причинам. Во-первых, воровской жаргон в некоторых специфических областях как раз очень разработан и разветвлен (в названии воровских профессий, карманов и т. п., т. е. в терминологической сфере), в то же время это только жаргон, т. е. система не замкнутая, а сосуществующая с общенародным языком — очень многие вещи просто нет надобности выражать на жаргоне, для этого есть другие средства. Во-вторых, описанная ситуация: «диалект, выражающий сотни понятий и оттенков каким-нибудь одним словечком... или нецензурным глаголом, заменяющим чуть ли не любой другой...», а многое выражается просто междометиями и бранью» — отнюдь не специфична для блатной речи. Очень похожие описания современного состояния русского языка приходилось слышать, например, в докладах Г. Гуссейнова о его полевых исследованиях, да и вообще каждому, вероятно, приходилось встречаться с такой речью. Совершенно такую же картину в разговоре мастеровых описывал еще Достоевский². Способность основных матерных слов обретать очень широкое местоименное значение³ (а для соответствующего глагола заменять широчайший круг других глаголов) вытекает из самого характера этой микросистемы⁴. Это видно, в частности, из обратного соотношения: очень многие местоимения и существительные («это», «штука», «предмет») и тем более глаголы могут в соответствующем контексте выступать как эвфемизмы. Разумеется, эти возможности небезграничны, так же как и способность матерных слов заменять обычные, здесь есть вполне реальные, хотя и трудно уловимые в описании семантические ограничения, но они, несомненно, есть и в том языке, который описывает Л. Самойлов⁵.

Наконец, в-третьих, обращаясь ко второму члену сравнения, нужно отметить, что, кажется, уже никто из серьезных лингвистов (кроме, может быть, тех, кто сам не занимался «экзотическими» языками и полагается на устаревшие обобщающие работы) не признает существования «примитивных» языков. Есть языки, в которых по историческим и культурным причинам слабее разработаны отдельные сферы лексики, но нет языков, примитивных по природе, «весь познавательный опыт и его классификацию можно выразить на любом существующем языке»⁶. Точно так же отнюдь не примитивность отличает «первобытные» культуры, поэтому невозможно принять такого рода аргумент, как сопоставление воровских суеверий с первобытными религиями, т. е. целостными системами (такие религии, конечно, в своё время называли *суевериями*, но в чисто оценочном смысле, как *ложную* веру, терминологически же под этим словом могут пониматься скорее всего современные представления о сверхъестественном, не сведенные в единую систему и не опирающиеся на последовательную веру). И уж тем более это относится к тому аргументу, что «сближает уголовников с дикарями и любовь к украшениям».

Я отнюдь не пытаюсь вовсе отвергнуть доказываемое Л. Самойловым сходство или отвести как можно больше параллелей. Дело не в отдельных сопоставлениях (хотя и к ним придется еще вернуться), а в общем подходе к проблеме. По существу перед нами те же представления, которые в свое время выражались

в традиционном сопоставлении (отнюдь не лишенном убедительности) «дикарей» с детьми или душевнобольными. Сопоставления эти давно опровергнуты, в частности в работах К. Леви-Стросса⁷. Он показал, что, например, ребенок располагает всем диапазоном культурных возможностей, свойственных человеку как виду, впоследствии культура «отсеивает» то, что ею не принято, мы же в нашем наблюдении фиксируем только «экзотические» черты (а другие не воспринимаем как специфически детские или специфически «дикарские») и встречаем полную взаимность у «дикаря», которому многие черты «культурного» поведения кажутся похожими на поведение детей или безумцев.

Оставим пока в стороне само это объяснение сходства, важно подчеркнуть, что впечатление сходства основано на избирательном наблюдении и сопоставлении. Сравняются не системы, а отдельные их черты и даже разрозненные факты из разных систем. Это, конечно, общая беда этнографической науки, но сопоставление не становится от этого более корректным. Так, сравнивая многочисленные лагерные табу с первобытными, Л. Самойлов выделяет прежде всего их — с его точки зрения — немотивированность. Но для «дикаря» табу вполне мотивированы, а без знания контекста многие правила нашего поведения будут выглядеть столь же абсурдно. Нужно отметить в связи с табуированием еще два обстоятельства. Целый ряд запретов действует не только в уголовных, но и в политических зонах (например, нельзя строить «заплетку», т. е. ограждение), где блатные нормы не действуют. Сам термин *заплетка* означает не только социальные табу, но и какие-то индивидуальные запреты или, во всяком случае, отношения. В рассказах о лагере нередко фигурирует такая реплика: «Тебе что — заплетка (сделать то-то и то-то?)», причем, как можно понять, утвердительный ответ был бы оскорбительным (как, скажем, утвердительный ответ на вопрос: «Ты что, брезгуешь?»).

При подобном сопоставлении не учитывается контекст сопоставляемых фактов, их функции (не принимая крайностей функционалистов, отрицавших всякую возможность сравнения разных культур, не следует пренебрегать некоторыми их предостережениями). Камерная «прописка», конечно, даже по своей функции напоминает инициацию, однако нужно учитывать, что в «первобытной» инициации жестокость отнюдь не была самоцелью, тогда как здесь она является одним из важных стимулов. Кроме того, «прописка» выполняет еще одну функцию, которой нет у инициации: она позволяет выявить *уже посвященных*. Любопытно, что вся эта вопросно-ответная игра напоминает скорее «сказочную инициацию», ритуальные параллели к которой обнаруживаются скорее в обрядах типа свадьбы с обменом иносказательными репликами.

Таким образом, сходство с «первобытной» социальной организацией представляется мне в значительной мере иллюзорным, обусловленным избирательностью наблюдения и сопоставления. Кроме того, в субкультуре, противопоставляющей себя основной культуре, неизбежно должны возникнуть явления, типологически сходные с какими-то другими культурами: возможности «выбора» отнюдь не безграничны, и если субкультура для той или иной функции выбирает средства, не принятые основной культурой, то в силу самого этого отталкивания довольно велики шансы, что ее выбор совпадает с уже существовавшим «решением»⁸.

Эти объяснения, однако, никак нельзя считать исчерпывающими, весьма существенна и роль других факторов, которые на правах второстепенных упоминает Л. Самойлов (подражание социальным структурам «воли», специфика закрытых сообществ), к ним можно, вероятно, добавить и такую аналогию, как повышенная ритуализация поведения при некоторых психических расстройствах (не в смысле упомянутого сближения: дикари — дети — сумасшедшие, но как проявление «социального психоза»). Тем не менее все это не снимает необходимости поисков более глубоких объяснений, а для этого нужно будет расширить круг сопоставлений: сравнить структуру лагеря с уголовной субкультурой на воле (учитывая при этом, что лагерь состоит не только из уголовников), с уголовными субкультурами (в тюрьме и на воле) других стран (видимо, нацио-

нальные подразделения внутри нашей страны не сказываются на уголовных структурах, в этой области мы, кажется, действительно создали новую историческую общность) и, главное, с другими формализованными субкультурами. Так, сопоставление с «дедовщиной» важно уже тем, что сходные структуры известны во многих учебных заведениях (не только военных и не только русских), но еще интереснее упоминаемый в статье пример «стай» — подростковых банд. Здесь трудно ожидать полностью совпадающих структур, но само сравнение указывает на одно важное обстоятельство: замкнутость лагеря не является определяющей, она лишь позволяет вовлечь в уголовную структуру остальных заключенных, а для самой этой структуры замкнутость, возможно, не столь необходима. Однако банды составляются тоже не полностью добровольно (по мере их разрастания и усиления их влияния положение вне банды становится небезопасным — явление, несколько напоминающее партизанскую войну, которая всегда предполагает определенное воздействие на нейтральное население, так что часть его вынужденно примыкает к партизанам). Кроме того, нет уверенности, что подростковые банды являются *типологическим* подобием уголовных структур, а не их прямыми наследниками, «диффузией» этой субкультуры.

Действительно, распространение уголовного влияния огромно. Диффузия блатного языка⁹ и фольклора началась еще в первые послереволюционные годы (мода на жаргон в литературе и т. п.) и приобрела огромные масштабы после освобождения в 1950-х годах политзаключенных. Но распространение блатной идеологии и морали шло другими путями; Л. Самойлов справедливо указывает на роль лагеря, однако питательной средой является и школа. Школа изначально обладает своей («бурсацкой») этикой, в некоторых точках соприкасающейся с лагерной (ненависть к надзирателям — не обязательно реальная, запрет на ябедничество и т. п.), своим жаргоном, который питается и блатными источниками. Я учился в обычной школе 50-х годов, довольно благополучной (в центре Ленинграда), шпана в ней отнюдь не господствовала, но пользовалась несомненным престижем, как и блатные этические нормы, блатная мифология и т. п. Я упоминаю об этом не для объяснения генезиса «стай», но, прежде всего, чтобы отметить еще одну субкультуру, которую было бы полезно сопоставить с блатной, — детской. Именно в детском фольклоре найдутся ближайшие аналоги тем вопросно-ответным испытаниям, которые описывает Л. Самойлов; детской субкультуре свойственна и особая роль жаргона, и повышенная ритуальность (последнее хорошо видно, например, в фильме «Чучело»), суеверия, локальная семиотизация одежды.

Все это требует, конечно, серьезного исследования, а не таких поверхностных замечаний. Но если действительно окажется, что круг субкультур, сопоставимых с уголовной, можно значительно расширить, тогда, возможно, появятся и более убедительные объяснения. Чисто гипотетически можно допустить, что описанная в статье структура окажется простейшим (т. е. наиболее естественным и типологически вероятным) способом *самоорганизации коллектива*. Субкультуре необходимо противопоставить себя окружающему миру и навязанной извне иерархии и строить свою структуру «с нуля», ей приходится вводить даже свой эквивалент денег (характерно, что слово *тимак*, которым обозначается чай как всеобщий эквивалент, в 30-е годы означало «рубль»), она организуется по самым простым принципам.

Примечания

¹ Так называлась популярная этнографическая брошюра начала века: «Культура бескультурных народов».

² В «Дневнике писателя». Этот пример подробно разбирал М. М. Бахтин (*Волошинов В. Марксизм и философия языка*. Л., 1929. С. 124—125).

³ Местонаименное значение отметил уже А. И. Бодуэн де Куртене в 3-м и 4-м изд. Словаря Даля.

⁴ В недавней работе: *Dreizin F., Priestly T. A. Systematic Approach to Russian Obscene Language* // *Russian Linguistics*. 1982. V. 6. P. 233—249 — даже высказана весьма продуктивная мысль о том, что подобные значения вообще нельзя описывать лексикографически как слова или значения

слов, но весь «мат» нужно представить как особую подсистему со своей грамматикой, позволяющей образовывать эти новые значения (см. также: *Ward D. Pro-from and Metaphor — Pro-from and Vocative* // Там же. 1982. V. 7. P. 21—23). Семантический анализ таких значений см.: *Левин Ю. И. Об обшцнтных выражениях русского языка* // Там же. 1986. V. 10. P. 61—72.

⁵ Описанное Л. Самойловым «буквальное» восприятие мата (как относящегося к матери) косвенно засвидетельствовано и в сравнительно поздних русских текстах. См.: *Успенский Б. А. Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии* // *Studia Slavica Hungarica*. 1983. T. 29. P. 33—69, 1987. T. 33. P. 37—76. В последнее время у нас распространилось (в основном в средствах массовой информации) немало неверных и дилетантских рассуждений об этой сфере лексики, поэтому мне показалось уместным подробнее остановиться на ней и привести основные работы.

⁶ *Якобсон Р. О. О лингвистических аспектах перевода* // *Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике*. М., 1978. С. 19.

⁷ Например: *Lévi-Strauss C. The Elementary Structures of Kinship* [1949]. Boston, 1969. P. 84—97.

⁸ Аналогичные явления встречаются, например, в литературе, см.: *Левинтон Г. А. Замечания к проблеме «литература и фольклор»* // *Труды по знаковым системам*. Тарту, 1977. Т. 7. С. 83. Прим. 27.

⁹ Не все примеры блатных по происхождению слов, приводимые Л. Самойловым, одинаково убедительны, *халтура*, например, вовсе не из уголовного арго.

© 1990 г.

Я. И. Гишинский

СУБКУЛЬТУРА ЗА РЕШЕТКОЙ

Широкое движение в защиту прав граждан, незаконно и несправедливо подвергающихся ограничениям и репрессиям, нередко проходит мимо тех, чьи права и свободы ограничены на законном основании. Между тем, сколь бы ни был виновен гражданин в совершении уголовного преступления, он не должен подвергаться большому лишению, нежели это предусмотрено законом. К сожалению, практика наших пенитенциарных учреждений расходится с принципами правового государства.

Общемировой «кризис наказания» (см. работы Д. Блэка, У. Бондесона, Н. Кристи, Ф. Макклитока, Дж. Митфорда, У. Нэйджела, Г. Хохрякова, И. Шмарова и др.) проявился и в Советском Союзе, но еще обостренный наследием репрессивной сталинской системы. Лишь в самое последнее время появились в массовой печати материалы, приоткрывающие завесу секретности, которая охраняла «тайны» мест лишения свободы надежнее колючей проволоки. Среди публикаций на эту тему особый интерес вызывают работы Л. Самойлова, поскольку они явились взглядом «изнутри» системы¹.

В своих статьях Л. Самойлов, не будучи юристом, раскрывает основные «грехи» нашей карательной практики.

«Законные» беззакония начинаются уже в отношении лиц, содержащихся под стражей во время предварительного расследования. Они испытывают практически все тяготы осужденного к лишению свободы и сверх того — лишены права переписки, свиданий с родственниками. Если по закону (ст. 97 УПК РСФСР и соответствующие статьи УПК союзных республик) срок содержания под стражей во время предварительного следствия не должен превышать 9 месяцев и то лишь с санкции Генерального прокурора СССР, то фактически этот срок может быть продлен на сколь угодно длительное время Президиумом Верховного Совета СССР (свежий тому пример см. в газете «Правда» от 1 июля 1989 г.).

Лица, приговоренные судом к наказанию в виде лишения свободы, отбывают его в исправительно-трудовых учреждениях с различным режимом. Конечно, дифференциация условий отбывания наказания в зависимости от возраста осужденного, тяжести совершенного преступления, умышленного или неосторожного характера содеянного и т. п. способствует дифференциации самого наказания. Однако фактические условия отбывания наказания ужасны: к закон-